

**Е**

сть в моей жизни человек, который живет уже почти сто лет. Человек из другого времени, из другого века. Моя мама называла его легендарной личностью, и это правда. Человек этот — писатель Евгений Львович Войскунский. Он как будто соединяет меня с тем прошлым, в котором жили мои предки.

Родился он в Баку 9 апреля 1922 года, поступил в Академию художеств в Ленинграде, после первого курса был призван в армию, позже оказался на флоте. Интересен тот факт, что Войскунский не мечтал о морской службе, продолжавшейся тогда 5 лет, дабы поскорее из армии вернуться к учебе. Но жизнь решила по-своему. И Евгений Львович не только прошел всю войну на Балтийском флоте, завершив ее в чине капитан-лейтенанта, но и после Победы служил еще около десяти лет. В итоге, благодаря судьбе-злодейке, Россия и мир получили одного из лучших писателей-маринистов.

В годы войны Войскунский был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени и многими другими боевыми наградами. 22 июня 1941 года он оказался на полуострове Ханко (Гангут). На этой земле трудно было не стать моряком. Ведь все служившие там называли берег — палубой великого родного корабля.

Великого... без преувеличения. В этом месте за 225 лет до того момента — 9 августа 1714 года, под командованием Петра I произошла первая в истории России морская победа русского флота над шведской эскадрой. Здесь, на легендарной, стратегически важной позиции, в 1941 году шли тяжелые бои. Об этом периоде Евгений Львович позже напишет рассказы, повести, романы и пьесы.

Много поистине интересных, нередко опасных и даже страшных вещей произошло с молодым человеком на войне. На полуострове Ханко он сначала был красноармейцем в составе железнодорожного строительного батальона. Потом стал работать корреспондентом газеты «Красный Гангут», писал фельетоны, статьи, заметки. Евгений Львович много и подробно рассказывал об этом в своих произведениях.

В октябре 1941 года его забрали в штат редакции газеты. И попрощавшись с друзьями, на попутном грузовике он поехал в город Ханко. Войскунский явился в редакцию «Красного Гангута», размещавшуюся в здании штаба базы, в подвале. Штаб располагался в каменном строении — одном из немногих сохранившихся после обстрелов в городке. «В первый же день на него налетел высокий блондин в армейской форме, который декламировал стихи Эдуарда Багрицкого (в рассказе Войскунского, напечатанном в газете незадолго до этой встречи, те же строки в бреду твердит раненый боец): «Он мертвым пал. Моей рукой водила дикая отвага...», Войскунский сразу же подхватил: «Ты не заштопаешь иглой прореху, сделанную шпагой». Перебивая друг друга, они принялись наизусть читать Багрицкого.

Так познакомился Евгений Войскунский с Михаилом Дудиным, в будущем — классиком советской поэзии, а пока резко начинающим свой творческий путь молодым русским поэтом, родившимся 20 ноября 1916 года в «маленькой, всего шесть дворов», деревне Клевнево Фурмановского района в крестьянской семье. Юность Михаила Александровича обычна для первого поколения молодежи страны Советов. Учился в Каликинской школе крестьянской молодежи, жил в общежитии, одновременно в соседней деревне Рождествино учил неграмотных. Продолжая образование в Ивановской текстильной фабрике-школе, выпускал стенгазеты и был направлен в комсомольскую газету «Ленинец». Работал журналистом в Иванове, Комсомольске, на Баксанстрое в Кабардино-Балкарии, одновременно учился на вечернем отделении педагогического института.

Многое успевали делать наши деды. Вот и Дудин начал печататься еще в 1934 году, а первый сборник его стихов — «Ливень» — вышел уже в 1940-м, по следам первой в его жизни войны. В 1939 году молодого поэта призвали в армию, на финский фронт. Так что на момент встречи с Войскунским это был уже поэт с книгой!

К концу жизни у него будет настоящий иконостас из наград, премий и званий, но, думаю, самыми дорогими для него оставались все же те, первые — боевые ордена и медали. Михаил Александрович Дудин умер 31 декабря 1993 года в Санкт-Петербурге, похоронен на родине — в селе Вязовское Фурмановского района, об этом своем желании он тоже успеет написать:

В селе Вязовском на старом погосте  
Землею становятся мысли и кости...  
Здесь память о предках моих небогата,  
Здесь Родина жизни моей, и когда-то  
Окончится дней моих длинная повесть.  
Умолкнут стихи, успокоится совесть,  
Друзья разойдутся, разъедутся гости...  
Найдите мне место на этом погосте.

Времена меняются, но мы знаем, что в ноябре 1996 года в библиотеке села Широкова открылся общественный музей поэта М.А. Дудина, а в 2002 году ширококовской сельской библиотеке было присвоено его имя.



Михаил Дудин



Евгений Войскунский

Фото военных лет

Но вернемся к моменту знакомства двух наших героев-писателей: одного, как я уже сказал, еще не очень известного поэта с книгой, и второго, не менее дерзкого, но делающего лишь первые шаги в журналистике бывшего студента-художника. Заживут они в одной крохотной комнатке в здании редакции. По словам Евгения Львовича, скорее всего, прежде там была каталажка: комнаты маленькие, узкие, очень похожие на камеры. В такой малосенькой комнатке товарищи и вели по ночам свои разговоры, делились мечтами, читали друг другу стихи. Многие воспоминания Войскунского о Дудине связаны именно с этим начальным периодом службы на Ханко. А в творчестве Евгения Львовича эти годы займут основополагающее место.

В октябре 1941 года Ханко оказался в тылу противника. Выражаясь по военному, «стратегический смысл его обороны был утерян», поэтому стали приходить конвои и вывозить людей и технику. Конвои состояли из транспортных судов, эсминцев и тральщиков. Ходили они с остановкой: сначала до острова Гогланд, на следующую ночь добирались до Ханко. И таким же образом возвращались — в два «прыжка», через остров Гогланд. К 2 декабря 1941 года полуостров опустел, остались только заслоны на границах и островах. Работников редакции газеты «Красный Гангут» принял на борт последний конвой. Грузились весь световой день. Ближе к вечеру вышли в море. Этому предшествовала большая работа на берегу. Уничтожалась боевая техника, пушки, взрывались платформы, паровозы, даже типографское оборудование.

В последний конвой входило два эсминца, тральщики и катера. Войскунский был на большом электроходе «Иосиф Сталин», загруженном людьми и продовольствием сверх всякой меры. В четырехместной каюте было очень тесно: в ней расположились 20 пассажиров. Транспорт принял на борт около 6 тысяч человек. Войскунский с Дудиным долго стояли на верхней палубе и смотрели, как горит Ханко. Довольно скоро малоповоротливый транспорт напоролся на мину, раздался первый взрыв, погас свет, по трансляции приказали всем оставаться на местах. Через час раздался второй

взрыв, очень сильный, корабль начал крениться на правый борт. Началась паника. Войскунский с Дудиным держались вместе. Им сунули в руки носилки, и они из трюмов в кают-компанию носили раненых — их было очень много. Прогредел третий взрыв. Дудин затащил друга в каюту, где стояли винтовки, и предложил застрелиться. «Не хочу рыб кормить!» — сказал он. По словам Евгения Львовича, на Михаила было страшно смотреть, но Войскунский не растерялся, схватил его за руку и силой вытащил из каюты. (Эта история напоминает сцену из пьесы «Дни Турбиных» М. Булгакова, хотя она вряд ли была им знакома по предвоенным театральным постановкам.)

«Сталина» пытались взять на буксир — ничего не вышло, поскольку четвертым взрывом разбило форштевень. Крен усиливался, но электроход держался на плаву. Подходили тральщики, на них прыгали люди. Штормило, поэтому надо было выбрать момент, чтобы не промахнуться мимо узкой палубы. Товарищи поднялись на верхнюю палубу. Дудин прыгнул на борт подошедшего тральщика, Войскунский собрался сделать то же самое, но тральщик отвалил от электрохода и стал удаляться. Войскунский слышал, как Миша закричал: «Женька, прыгай! Прыга-ай!». Но было уже поздно — тральщик уходил. Евгений Львович рассказывал позже не раз, что не помнил, сколько провисел на борту — две минуты, десять, час.

Через некоторое время подошел еще один тральщик. Войскунский прыгнул. Вместе с ним прыгнули и другие ребята из команды. Это был последний корабль конвоя, подходивший к борту «Сталина». Около трех тысяч оставшихся солдат попадут в плен, а на Родине долгие годы не будет известно об их судьбе.

Я сразу представил, какой был шок у друзей, когда один из них уже спасен, а у другого впереди неизвестность. При этом расстояние между кораблями продолжало медленно и неумолимо увеличиваться.

Это событие из жизни двух писателей довольно широко известно по их биографиям и романам Войскунского. Я рассказал о нем только потому, что оно связано с важной для русской литературы историей, которую не знает почти никто. Об этом чуть позже...

Наше знакомство с Евгением Львовичем произошло давно. Сначала с ним познакомился мой папа, приехав к нему как журналист-корреспондент по заданию газеты, в которой на тот момент работал. Папа был поражен тем, что произведения Войскунского он читал и полюбил еще мальчишкой. Мой дедушка, Иван Петрович, был старше Евгения Львовича всего на три года. Папа, наверное, почувствовал к нему сыновьи чувства, они сдружились, и у нашей семьи появилась еще одна добрая традиция — несколько раз в году навещать Евгения Львовича.

Смутно помню эти первые свидания и мысли, возникшие от знакомства с таким необыкновенным человеком. Я не понимал еще, как важно дружить с человеком такой судьбы. Я с любопытством рассматривал в его квартире офицерский китель, кортик, библиотеку, старые фотографии, карты. С еще большим интересом я слушал беседы папы и Войскунского. Они увлеченно разговаривали о любви, литературе, политике и многом другом. Говорили еще и об антологии военной поэзии, которая тогда готовилась к изданию. Войскунский вспоминал о стихах, которые читали и любили во время войны, об особенной возвышенности в них патриотических чувств, эти воспоминания дополнялись картинками фронтового быта и историями судеб. Зашел разговор и о поэте Михаиле Дудине. Войскунский стал читать наизусть любимые стихи поэта и вдруг, прочитав отрывки из «Соловьев», которое считает одним из его лучших стихотворений, неожиданно вспомнил ту самую историю, ради которой я сегодня пишу этот очерк.

Папа в ответ рассказал историю создания «Соловьев», известную ему по воспоминаниям

ниями Дудина. Подробности первой истории я сразу не запомнил, поэтому весной 2015 года специально поехал к Евгению Львовичу и попросил еще раз рассказать о «Соловьях». Дома я расшифровал записи и был счастлив — вот она, история создания стихотворения «Соловьи» Михаила Дудина, как ее помнит 93-летний моряк и писатель.

— Это было начало июня 1942 года. В это время в Кронштадте, пожалуй, не было ни дня без артобстрела. Была очень напряженная и нестабильная обстановка. Хотя тяжелая блокадная зима была позади, голод все равно остался, да и блокада еще не снята. В один из тех дней, я тогда работал в газете кронштадтской военно-морской базы «Огневой щит», я уходил из редакции в среднюю гавань, на каком-то тральщике, брать материал для газеты и, возвращаясь домой, попал под очень сильный обстрел, переживал его довольно долго, прижавшись к стене дома, — в общем, выдался трудный день. Вечер был тоже беспокойный, я сидел с двумя-тремя работниками газеты рядом с домом, в котором была наша редакция, в сквере. И вдруг мы услышали, как поет соловей, — типичное такое щелканье. Пощелкал, пощелкал и выдал длинную руладу, очень красивую. Мы замерли. «Надо же, — подумал я, — война, обстрелы, смерть и — соловей!» Это было чудом. В очередном письме я написал об этих соловьях моему другу — Мише Дудину, который работал на тот момент в газете Ленинградского фронта «На страже Родины». С Дудиным мы подружились в напряженной обстановке и сразу же — на всю жизнь. Потом был еще этот страшный переход, когда транспорт подорвался на минах, ну, ты, наверное, знаешь об этом. Так вот, я написал письмо Дудину и отправил ему, не посчитав свое наблюдение чем-то важным. Проходит недели две-три, я получаю из Ленинграда бандероль в большом самодельном конверте. В нем был номер газеты, в которой работал Дудин, раскрываю и вижу — крупно набрано: Михаил Дудин, «Соловьи», стихотворение. А сверху Дудин написал: «Женьк! В этих «Соловьях» и ты виноват!». Ты его не помнишь, наверное, оно довольно большое...

Здесь Евгений Львович по памяти прочитал первую строфу:

О мертвых мы поговорим потом.  
Смерть на войне обычна и сурова.  
И все-таки мы воздух ловим ртом  
При гибели товарищей. Ни слова  
Не говорим...

Писатель, продолжая цитировать отрывки, дочитал до строчки, в которой говорилось про умирающего солдата, который шептал: «...напишите Поле — у нас сегодня пели соловьи». Тут-то я и попросил рассказать про этого бойца, спросив:

— Евгений Львович, скажите, а Михаил Дудин сам придумал этого солдата или же это реальный человек?

— Разумеется, он это придумал, хотя смерть мы видели довольно много и часто. Мы были корреспондентами, мотались по частям, кораблям, на передовой.

Здесь Евгений Львович задумался и продолжил цитирование стихотворения:

И, может быть, в песке, в размытой глине,  
Захлебываясь в собственной крови,  
Скажу: «Ребята, дайте знать Ирине —  
У нас сегодня пели соловьи.  
И полетит письмо из этих мест  
Туда, в Москву, на Zubовский проезд...

Евгений Львович опять задумался. Воспользовавшись заминкой, я выразил свое искреннее восхищение этим за душу берущим произведением, сказав, что уже не-

сколько дней изучаю его, знаю почти наизусть. Дальше задал вопрос, который появился у меня при первом же прочтении:

— А вот здесь речь идет о «тристапятидесятом дне войны»: это дата написания стихотворения?

— Скорее всего, это дата создания стихотворения. Помню, что было начало лета, где-то середина июня. Но здесь важно понимать смысл стихотворения! Он заключается в том, что весь этот ежедневный ужас войны не сломал нас, не лишил возможности ощущать и понимать красоту соловьиного пения.

Я обратил внимание на акцент, который поэт сделал, применив не совсем верную форму произношения числительного. Во-первых, чтобы выделить этот день, запомнившийся ему по многим причинам. Во-вторых, чтобы обратить внимание читателей, что война продолжается почти год. Именно такое задание он и получил от комиссара. В-третьих, эта строчка разделяет стихотворение на три части. В первой части говорится о том, что сердца людей превратились в пепел: *«Мир груб и прост. / Сердца сгорели. / В нас остался только пепел, да упрямо / Обветренные скулы сведены».*

Именно таких солдат с зачерстевшими душами изображал в своих произведениях и Ремарк. Но он же показывал и возрождение к мирной жизни пришедших с войны солдат. У нас в «Соловьях» мира еще нет, только война.

Во второй части умирающий солдат как бы дарит свою душу соловью — певцу жизни. Если бы душа была выгоревшей, смог бы соловей петь для него? Третья часть похожа на стихотворение о любви, в ней много размышлений героя о личной мирной жизни, в которой есть место и соловьям, и детям. Именно об этом пишет поэт. Я не цитирую здесь текст, потому что поставлю его в финале целиком, я акцентирую внимание на ключевых точках, чтобы при прочтении замысел автора раскрывался более полно, и не нарушалась целостность композиции.

Мы беседовали с писателем о его дальнейших отношениях с Михаилом Дудиным: «Мы часто встречались в послевоенные годы, и когда Дудин приезжал в Москву, или я приезжал в Ленинград, он со смехом спрашивал: «Женьк, а помнишь, как я склонял тебя к тому, чтобы мы застрелились?» Когда мы вспоминали об этом, то обычно смеялись. У нас было заведено посмеиваться друг над другом. Хотя та ночь была очень страшной, страшной ночи у меня в жизни больше никогда не было...»

Здесь Евгений Львович помолчал, видимо, вспоминая те минуты, и продолжил, как это часто бывает у творческих людей, вслед за своими мыслями, а не в русле темы беседы: «Отношения между нами, несмотря на разницу в возрасте, были товарищескими, скорее даже братскими. Он никогда не подчеркивал того, что он старше или что он талантливый, успешный поэт, хотя я значительно позже вступил в литературу, чем он. Это был великодушный человек, с широкой русской душой нараспашку... Все годы существования СССР он не позволял себе делать выпады против власти, считая, что этим может повредить стране, он был поэтом-государственником».

Слушая Войскунского, я понял, что именно поэтому, рассказывая о создании стихотворения «Соловьи», Михаил Дудин на первое место ставил не личную жизнь, не человеческие чувства, а долг перед Родиной, представителем которой в данный момент был батальонный комиссар. Изначально, по словам поэта, «Соловьи» были своеобразным «социальным заказом» и даже просьбой на уровне приказа: «К первой годовщине войны батальонный комиссар, редактор армейской газеты «Знамя победы», попросил меня написать к дате стихи, причем разрешил лирику... — пишет Дудин в воспоминаниях. — Я повернулся на каблуках и вышел из редакции. День был ясный. Все цвело и зеленело. По вечерам и на утренних зорях всюду заливались соловьи. И мне казалось, что соловьиные перекаты заглушали глухой рокот артиллерийских дуэлей. Накануне погиб мой дружок по взводу разведки — Витя Чухнин. (Дудин еще в 1940 году написал посвященное другу-художнику ироническое стихотворение «Ку-

кушка», заканчивающееся привычным в те годы риторическим призывом: «Художники! Из чугуна и стали, / Отбрасывая к черту хлам и лом, / Творите так, чтоб мертвые восстали / И, как живые, встали над врагом». — И.Л.) Накануне я получил письмо от своего ивановского друга-поэта Володи Жукова. Грустное письмо. Володя сообщал мне, что наш общий товарищ и земляк, тоже поэт, Коля Майоров погиб под Москвой. (Николай Майоров, поэт, политрук пулеметной роты 1106-го стрелкового полка 331-й дивизии. Погиб у деревни Баранцево Смоленской области. Похоронен в братской могиле в селе Карманово Гагаринского района Смоленской области. — И.Л.) И мне захотелось написать о них.

Я забрался в заросли орешника. Расстелил на зеленой траве шинель. Лег на живот. И вывел в своей тетради первую строчку: «О мертвых мы поговорим потом...»

Получается интересная вещь: автор «получил заказ» сразу с нескольких сторон. От погибших друзей, — память о них требовала высказаться. От живых друзей, которые напоминали ему о силе жизни, противостоящей смерти и войне. От комиссара, устами которого говорила страна миллионами русских людей. Этот заказ шел и из сердца молодого поэта. Его душе, той самой, «широкой русской душе нараспашку», нужно было выговориться, и сделала она это через стихотворение.

## СОЛОВЬИ

О мертвых мы поговорим потом.  
Смерть на войне обычна и сурова.  
И все-таки мы воздух ловим ртом  
При гибели товарищей. Ни слова  
Не говорим. Не поднимая глаз,  
В сырой земле выкапываем яму.  
Мир груб и прост. Сердца сгорели. В нас  
Остался только пепел, да упрямо  
Обветренные скулы сведены.  
Тристапятидесятый день войны.  
  
Еще рассвет по листьям не дрожал,  
И для остротки били пулеметы...  
Вот это место. Здесь он умирал —  
Товарищ мой из пулеметной роты.  
Тут бесполезно было звать врачей,  
Не дотянул бы он и до рассвета.  
Он не нуждался в помощи ничьей.  
Он умирал. И, понимая это,  
Смотрел на нас и молча ждал конца,  
И как-то улыбался неумело.  
Загар сначала отошел с лица,  
Потом оно, темнея, каменело.  
  
Ну, стой и жди. Застынь. Оцепеней.  
Запри все чувства сразу на защелку.  
Вот тут и появился соловей,  
Несмело и томительно защелкал.  
  
Потом сильней, входя в горячий пыл,  
Как будто сразу вырвавшись из плена,  
Как будто сразу обо всем забыл,  
Высвистывая тонкие колена.  
  
Мир раскрывался. Набухал росой.  
Как будто бы еще едва означась,  
Здесь рядом с нами возникал другой  
В каком-то новом сочетанье качеств.

Как время, по траншеям тек песок.  
К воде тянулись корни у обрыва,  
И ландыш, приподнявшись на носок,  
Заглядывал в воронку от разрыва.

Еще минута — задымит сирень  
Клубами фиолетового дыма.  
Она пришла обескуражить день.  
Она везде. Она непроходима.

Еще мгновенье — перекосит рот  
От сердце раздирающего крика.  
Но успокойся, посмотри: цветет,  
Цветет на минном поле земляника!

Лесная яблонь осыпает цвет,  
Пропитан воздух ландышем и мятой...  
А соловей свистит. Ему в ответ  
Еще — второй, еще — четвертый, пятый.

Звонят стрижи. Малиновки поют.  
И где-то возле, где-то рядом, рядом  
Раскидан настороженный уют  
Тяжелым громыхающим снарядом.

А мир гремит на сотни верст окрест,  
Как будто смерти не бывало места,  
Шумит неумолкающий оркестр,  
И нет преград для этого оркестра.

Весь этот лес листом и корнем каждым,  
Ни капли не сочувствуя беде,  
С невероятной, яростною жадной  
Тянулся к солнцу, к жизни и к воде.

Да, это жизнь. Ее живые звенья,  
Ее крутой, бурлящий водоем.  
Мы, кажется, забыли на мгновенье  
О друге умирающем своем.

Горячий луч последнего рассвета  
Едва коснулся острого лица.  
Он умирал. И, понимая это,  
Смотрел на нас и молча ждал конца.

Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле  
Когда он, руки разбросав свои,  
Сказал: «Ребята, напишите Поле —  
У нас сегодня пели соловьи».

И сразу канул в омут тишины  
Тристапятидесятый день войны.

Он не дожил, не долюбил, не допил,  
Не доучился, книг не дочитал.  
Я был с ним рядом. Я в одном окопе,  
Как он о Поле, о тебе мечтал.

И, может быть, в песке, в размытой глине,  
Захлебываясь в собственной крови,  
Скажу: «Ребята, дайте знать Ирине —  
У нас сегодня пели соловьи».

И полетит письмо из этих мест  
Туда, в Москву, на Zubовский проезд.

Пусть даже так. Потом просохнут слезы,  
И не со мной, так с кем-нибудь вдвоем



У той поджигородовской березы  
Ты всмотришься в зеленый водоем.

Пусть даже так. Потом родятся дети  
Для подвигов, для песен, для любви.  
Пусть их разбудят рано на рассвете  
Томительные наши соловьи.

Пусть им навстречу солнце зноем брызнет  
И облака потянутся гуртом.  
Я славлю смерть во имя нашей жизни.  
О мертвых мы поговорим потом.

*Июнь 1942*

Известный поэт Евгений Евтушенко в своей антологии «Десять веков русской поэзии» писал о Дудине: «Душа его была спасена теми фронтовыми соловьями». Конечно, он прав, это доказывает не только творческий путь Дудина, но и все произведения Войскунского, особенно роман «Полвека любви», в котором личная жизнь писателя становится частью истории страны.

И понял я, что не победили бы наши прадеды и деды в той страшной войне, если бы защищали только комбата и себя — уставшего, ожесточившегося солдата. Если бы не осознавали, что землю надо пахать, о чем напоминала им и трава на бруствере, и цветы на поле, примятые вражескими сапогами. Если бы не чувствовали каждой клеткой тела своего, что их ждут матери, дети, жены, сестры, невесты, и что каждая из них слышит тех же соловьев, воспевающих жизнь, поет ту же песню «В землянке» или читает «Жди меня».

В подтверждение этих мыслей, и завершая очерк, приведу мнение русского историка, литературоведа, философа и критика Вадима Валериановича Кожина. Много лет назад он первым обратил внимание на любопытное исследование одного своего знакомого немецкого историка-русиста Эберхарда Дикмана. Дикман заметил, что в Германии во время войны не звучало ни одной связанной с войной лирической песни, имелись только боевые марши и «бытовые» песни, никак не соотношенные с войной. Приведу в качестве примера знакомое мне стихотворение «Оккупация песни» русского поэта-фронтовика Валентина Давыдовича Динабургского (еще живущего в Брянске и пишущего; кстати, родившегося в один год с Войскунским):

Фриц наяривал «Катюшу»  
на губной гармошке,  
разбередивая душу  
хуже, чем бомбежка!  
Он играл почти без фальши —  
весело, задорно!  
Только слушать было страшно,  
нестерпимо больно.  
От Карпат и до Полесья  
жизни лад порушив,  
оккупировал и песню —  
то есть, значит, душу!  
До окопа того фрица —  
метров тридцать с гаком.  
Мне б в него зубами впитаться,  
а я сдуру плакал...

Значит, самими немцами подтверждалось, что наша страна являлась полной противоположностью фашистской Германии. Жизнь в СССР от окопов до глубокого тыла была насквозь пронизана одними и теми же лирическими песнями и стихами (та же

самая «Катюша»). Из воспоминаний Г. Жукова известно, что он не воспринимал жизнь 1941–1945 годов без постоянно звучащих из радиотарелок и поющих миллионы людей лирических песен о войне. Именно поэтому смысл войны и для маршала Жукова, и для простого солдата можно было выразить словами из песни А. Фатьянова «Соловьи»:

Пришла и к нам на фронт весна,  
Солдатам стало не до сна  
Не потому, что пушки бьют,  
А потому, что вновь поют,  
Забыв, что здесь идут бои,  
Поют шальные соловьи...

Я назвал очерк «Два писателя и соловьи», а под конец работы задумался: разве только эти два писателя так думают и чувствуют? Разве не весь народ стоял с ними рядом плечом к плечу и так же воспринимал мир? Про себя могу сказать точно: я с ними.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ, КОТОРОГО МОГЛО И НЕ БЫТЬ

Совершенно случайно обнаружил в Интернете видеозапись чтения Михаилом Дудиным стихотворения «Соловьи» в далеких шестидесятых. Обратил внимание на ссылку: «Мне двадцать лет». Поискал фильм, посмотрел сначала «Заставу Ильича», но не нашел там выступления Дудина. Вернулся к правильной ссылке, к другой версии фильма, где и знаменитый вечер поэзии в Политехническом оказался иным, и «Соловьи» — на своем законном месте. А ведь правильно было задумано режиссером, что пока звучит трагическое стихотворение, герои фильма — они чуть старше меня — говорят о любви... а Дудин за кадром читает: «*“Ребята, напишите Поле — / У нас сегодня пели соловьи”*. И сразу канул в омут тишины / Тридцатипятидесятый день войны...»

И получилось по словам поэта в жизни. Помните дальше написано: «*Пусть даже так. / Потом родятся дети...*»? В год выхода фильма на экраны страны родится мой папа — сын фронтовика.

А теперь уже и меня будят на рассвете томительные эти соловьи.

